

Марк
Берколайко

БАКУ — ВОРОНЕЖ:
НЕ ДОГОНИШЬ

МОЛЧАНИЕ СЭЛИНДЖЕРА,
ИЛИ РОМАН О ВЛЮБЛЕННЫХ
РЫБКАХ-БАНАНКАХ



Марк Зиновьевич Берколайко
Баку – Воронеж: не
догонишь. Молчание
Сэлинджера, или Роман о
влюбленных рыбках-бананках
Серия «Проза времени»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42109357

Марк Берколайко. Баку – Воронеж: не догонишь : Документальная повесть ; Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-

бананках: Время; Москва; 2019

ISBN 978-5-9691-1849-2

Аннотация

Повесть «Баку – Воронеж: не догонишь» можно было бы назвать повестью-воспоминанием, если бы в первых строках ее автор не предупредил читателя, что самое главное для него – выразить свое восхищение родным Баку и той удивительной общностью, которая называется не бакинцами даже, а бакинским народом. И с каждой страницей для нас все более раскрываются, становятся все роднее и город великой судьбы, и его люди: нефтяники, ученые, ремесленники, поэты, музыканты, врачи,

учителя – все те, о ком, следуя мудрому завету Василия Жуковского, мы с благодарностью говорим: «Были!»

«Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках» – здесь «пересказывается» произведение, которое самый популярный и загадочный писатель двадцатого века написал, по версии автора, в последние два года жизни. А сюжетом этого романа Сэлинджера стала история любви наших современников, Влады и Стаса, и мы убеждаемся, что «повесть о Ромео и Джульетте» – не только легенда, а описанные великим писателем судьбы придуманных им «рыбок-бананок» – не только красивая метафора.

Содержание

Баку – Воронеж: не догонишь. Документальная повесть	6
***	6
Воронеж	9
Баку	30
Конец ознакомительного фрагмента.	49

**Марк Берколайко
Баку – Воронеж: не
догонишь; Молчание
Сэлинджера, или
Роман о влюбленных
рыбках-бананках**

© Марк Берколайко, 2019

© «Время», 2019

* * *

Баку – Воронеж: не догонишь.

Документальная повесть

Моим бакинским друзьям, – и пребывающим со мною в этом мире: Саше, Савелию, Эльдару, Ниязи, и тем, кто уже ушел из него: Эмину Алиеву, Рауфу Сафарову, Шурику Тверецкому, Лене Прилипко

* * *

*Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.*

Евгений Баратынский

Стереотип воспоминаний о городе, в котором вырос, хорошо известен: родной дом – родной двор – родная улица – опять же родные детский сад, школа и институт – первая любовь – первая разлука... И все это потрескивает от чувств; потрескивает однообразно и утомительно, как кастаньеты у долго выплясывающей испанки.

Много подобного содержится в моей повести «Седер на Исковской», теперь же, отдавая воспоминаниям более

скромную дань, пишу не ради них, а для того, чтобы выразить свою привязанность к той великой и уникальной общности, которую называю *бакинским народом*; для того, чтобы еще раз восхититься Баку, где совсем недавно провел свой семьдесят третий день рождения.

А до этого дня не видел его тридцать семь лет – такой вот мистический перевертыш чисел: 73–37!

...Проспал, потрясенный впечатлениями, шесть часов кряду. Вышел на балкон и увидел, что рассвело едва ли на половину.

До первых поздравительных звонков и эсэмэсок было еще долго, жена крепко спала, так что я, семидесятитрехлетний «новорожденный», оказался один на один с миром, в котором царила тишина.

От бухты дул ветер, та самая благословенная моряна, которая и в самые жаркие, душные ночи дарит пару часов «провидческого» полусна. И в голове моей стало что-то такое проясняться, и я негромко, чтобы никого не будить, заговорил, обращаясь к едва видневшемуся в молочной дымке острову Нарген. Заговорил, будто бы поясняя строгому экзаменатору длинную и запутанную формулу своей жизни:

– Прости меня, Баку. Прости мои тогдашние глупость и высокомерие, из-за которых я считал тебя не устремленным в будущее, не могущим вырваться из обрекающего на архаику ярма нефтегазовой триады «добыча – транспортировка – переработка». Прости, я не понял, что это не ярмо твое, а

корона, – ведь оказалось, что даже двадцать миллионов тонн недоразведанной отцом кобыстанской нефти, даже эта капля в море в сравнении с ежегодно добываемыми в России пятьюстами пятьюдесятью миллионами тонн, помогает тебе становиться еще краше, еще чувственнее, еще величественнее.

Я недооценил тебя, прости!

Воронеж

Из Баку я уехал осенью 1967 года, после окончания университета. В моем красном дипломе значилось «математик, учитель математики», но быть учителем меня не привлекало, – мечтал решать сложные и интересные задачи. Волны счастья от набитого одним пальцем на машинке «Теорема доказана» (моя! мною доказана!) уже не укачивали, – понял, что результаты, которые получил в дипломной работе, которыми гордился еще в июле, примитивны.

Однако способен ли создавать что-либо, чему можно было бы радоваться не только через два месяца, но и через два года – не знал.

И все равно мечтал, и даже определилась область математики – нелинейный функциональный анализ, – в которой тянуло работать, однако в Баку именно в этой области не было того, что называется школой.

Не той, конечно, школой, в которой геометрия зиждется на воззрениях Евклида, – нет, речь о том, не учрежденном формально, однако более чем реальном, что даже по ночам заставляет думать над услышанным на семинарах Красносельского, Крейна, Владимира Ивановича Соболева; где задачи, над которыми бьешься (а ты непрестанно над чем-нибудь бьешься) развивают классические исследования Никольского, Сергея Львовича Соболева, Канторовича, Бесо-

ва, Лизоркина... Это нечто такое, что заставляет ежемесячно перелистывать лучшие советские и зарубежные математические журналы и радоваться статьям «своих», тех, с кем, встречаясь в коридорах университета, в фойе филармонии или театра, обмениваешься приязненным: «Как дела? Все вершины покорил?» – «Пока не все. Штурмую», – а на конференциях, по ночам, на берегу Байкала или Японского моря, в номере турбазы «Березка» или гостиницы в новосибирском Академгородке – поешь Окуджаву...

В Баку такой школы не было, а в Воронеже была, и имена легендарных ее основателей: Марка Александровича Красносельского, Селима Григорьевича Крейна и Владимира Ивановича Соболева мною с глубочайшим почтением уже упомянуты. Еще назову Якова Брониславовича Рутицкого, заведующего кафедрой высшей математики ВИСИ (Воронежского инженерно-строительного института), аспирантом которого в 1968-м я стал, а до того год преподавал в пединституте Курска.

И вот оттуда-то, выхлопотав три свободных дня, направился в Воронеж – знакомиться.

Железная дорога от Курска до Воронежа однопутная и одолевалась поездом «Киев – Воронеж» за восемь часов. На перрон курского вокзала из купейного вагона вышло человек двадцать с чемоданами и сумками, а вошел в него, с неплотно набитым портфелем, только я. Из этого следовало, что

можно будет завалиться на верхнюю полку любого свободного купе и заняться тем, чем стоит заниматься в медленном поезде: изредка любоваться пейзажами, совсем изредка пить чай, а в остальное время спать. Но пассажир предполагает, а проводник располагает, – и уверенной в своем праве располагать воронежанкой (или воронежкой?) я был определен «на постой» к молодой женщине с дочкой лет восьми-девяти. Женщина, по моему разумению, должна была бы запротестовать, но нет, смолчала, и даже, как мне показалось, заинтересованно смолчала. Каюсь, отнес это на счет бросившегося ей в глаза моего обаяния, однако вскоре стало ясно, что с интуицией завзятой болтушки она разглядела во мне нечто большее, нежели зачатки мужской привлекательности, – а именно, готовность слушать.

Инна! Не знаю, живы ли вы – как-то так случилось, что за пятьдесят лет ни разу вас не увидел, хотя Воронеж маленький, в общем-то, город...

Инна! Откуда вы так хорошо были осведомлены о секретных КБХА и ОКБ моторостроения? о полусекретном механическом заводе? о таинственном и постоянно расширяющемся комплексе «почтовых ящиков» микроэлектроники на левом берегу? Называли фамилии Колесникова¹ и Тол-

¹ Колесников В. Г., Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. В 1966–1971 гг. – директор Воронежского завода полупроводниковых приборов (ВЗПП), генеральный директор Воронежского производственно-технического объединения (НПО) «Электроника»; 1985–1991 гг. – министр электронной промышленности СССР.

стых², предрекая этим людям большое будущее; рассказывали о трагической гибели Косберга³, упоминая при этом о Конопатове...⁴ Откуда вы все это знали?!

Инна! Я понимаю, в России все тайна и ничто не секрет, но как вы не боялись выкладывать столько «не общедоступного» мне, совершенно незнакомому человеку? За восемь часов пути вы дважды насильно меня накормили, задали шесть вопросов: кто такой? зачем еду в Воронеж? как три года буду жить вдали от семьи? знаю ли Юлия Гусмана? Муслима Магомаева? Полада Бюль-Бюль-оглы? Без особого интереса выслушали ответные десять фраз, а все остальное

² Толстых Б. Л., Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. В 1971–1985 гг. главный инженер, генеральный директор НПО «Электроника» и ВЗПП. 1987–1989 гг. – заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госкомитета СССР по науке и технике; 1989–1991 гг. – председатель Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике.

³ Косберг С. А., Герой Социалистического Труда, создатель и главный конструктор Воронежского КБ химавтоматики, в котором были разработаны (и до сих пор производятся) жидкостные реактивные двигатели третьих ступеней ракет-носителей. Известно восклицание Гагарина: «Косберг сработал. Какая красотища!», когда корабль «Восток» был выведен на орбиту, третья ступень отделилась и в иллюминаторе стала видна Земля. Менее известно, что Семен Ариевич первым из прилетевших на место приземления Юрия Алексеевича получил его автограф, а в нем было написано: «Спасибо за третью ступень!»

⁴ Конопатов А. Д., Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, ученик Косберга и его преемник на посту главного конструктора Воронежского КБ химавтоматики.

время говорили, говорили, говорили...

Потом, уже выходя из купе, наказали очень серенькому мужу и его еще более серенькому водителю нести чемоданы предельно аккуратно, поскольку в них много стекла, взяли за руку молчавшую (!) всю дорогу дочь и ушли, бросив мне «до свидания», равнодушное, как поклон уставшей примы едва заполненному залу.

И исчезли из моей жизни навсегда, сыграв в ней фантастически значимую роль!

Ибо, глядя вам вслед, я твердо решил не возвращаться в Баку после аспирантуры! Решил, что если даже вознамерятся вытолкать взашей, то растопырюсь, упрусь, но сумею угнездиться в Воронеже, в этом негромком городе с неизвестным мне прошлым, великим настоящим и, несомненно, грандиозным будущим.

А друзья, еще когда заканчивал университет, узнав о моих планах учиться в аспирантуре в Воронеже, спрашивали: «Ладно, то, что уезжаешь, еще понять можно – ради математики. Но почему не в Москву, не в Ленинград, не в Новосибирск, в конце концов? Почему по принципу: “Баку – Воронеж: не догонишь!”?» И получалось, что убегаю из родного города в какое-то неприметное место, где обречен быть таким же неприметным. Это как-то царапало, не скрою... Может, поэтому в первых двух моих романах действие происходит во вроде бы вымышленном Недогонеже.

Но как после рассказов Инны было не принять решение

остаться в Воронеже навсегда?! – ведь кроме замечательных математиков он вместил в себя самолето-, ракето- и двигателестроение, предприятия радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники, производство синтетического каучука, шин, тяжелых прессов и экскаваторов. И из этого манящего изобилия науки и индустрии – обратно в мой славный Баку, в котором жилось так ласково, но в котором, кроме нефтедобычи и нефтепереработки, кроме лишенного ауры дальних плаваний Каспийского пароходства и нескольких небольших заводов, не было, казалось мне, ничего сравнимого с воронежским великолепием?! Ах, *Инна*, вы подвели меня к двери в манящую *инаковость* – и я принялся в нее биться, радуясь приоткрыванию еще на сантиметр, еще на чуть-чуть... и бьюсь до сих пор, уже твердо зная, что никакой *инаковости* за нею нет.

Легко получил место в гостинице «Воронеж», – она располагалась тогда в здании с часами на площади Ленина, – просто подошел к стойке регистрации, сказал: «У меня забронировано», – и подал паспорт с вложенной в него двадцатипятирублевкой. Метод этот, усвоенный из рассказов бакинцев о поездках в Москву, оказался действенным, однако хватило бы и десятки, поскольку я оказался пятым в номере с двумя армянами, одним дагестанцем и снабженцем из Житомира, и все они, люди опытные, просветили меня, что двадцать пять – это поощрение разврата. Просвещали и во время вечернего застолья, в котором я поучаствовал

бутылкой азербайджанского коньяка, долго-долго хранимой мною в Курске, а опустошенной в первые же часы пребывания в Воронеже. Так же дружно были распиты старка и водка «Московская» – взносы остальных участников. Полтора литра на четверых крепких мужиков и тогдашнего меня, – худого математика мужеска пола, – явный недобор относительно нормативов тех времен (пол-литра на брата), однако и это количество алкоголя обеспечило честной компании непоказное воцарение дружбы народов. Не ленинской, которая, если верить пропаганде, крепнет исключительно в труде и борьбе, а пышно расцветающей тогда, когда есть что выпить и чем закусить; когда не над чем трудиться, а бороться с американским империализмом, сионистской военщиной и китайским ревизионизмом невозможно хотя бы по причине их полного отсутствия и рядом, и в непосредственной близости⁵.

Правда, снабженец, ширый украинец, успел уведомить, что после войны в Житомире опять развелось много евреев, на что дагестанец возразил: «Среди евреев тоже много хороших людей есть!» – и тема была исчерпана.

⁵ Для современного читателя следует, наверное, пояснить, что советско-китайские отношения, обострившиеся в связи с тем, что Мао Цзэдун категорически отвергал проводимую под руководством Н. С. Хрущева десталинизацию, при воцарении Л. И. Брежнева не только не улучшились, но стали враждебными вплоть до многочисленных вооруженных столкновений, что и послужило основной причиной сближения США и КНР, приведшего, вкупе с хорошо продуманными реформами Дэн Сяопина, к «китайскому чуду». Последствия всего этого сегодня проявляются в полной мере.

Правда, армяне успели заявить, что азербайджанский коньяк – это армянский, завозимый в Азербайджан бочками и разливаемый там в бутылки: «Только этикетки, и то плохо, азербайджанцы делают!» И в том поклялись мамами – однако тут уже я не выдержал и заспорил. Пояснил (моя мать, в отличие от их матерей, работала экономистом в «Азсовхозтресте», которому подчинялась вся тогдашняя винодельческая промышленность Азербайджана), что виноградники и предприятия, обеспечивающие эриваньский и одесский заводы Шустовых коньячным спиртом, находились и находятся именно в моей родной республике; что рецептуры азербайджанского, дагестанского и грузинского коньяков были в тридцатые годы *разработаны, а не куплены* у французов, – в отличие от тех, что задолго до революции были приобретены у них для производства армянского. «Так что Черчилль любил, по сути дела, не армянский коньяк, а французский, приготовленный из азербайджанского виноматериала!» – хотелось мне добавить, но удержался. И правильно сделал, упоминание о Черчилле было бы уже чрезмерным – и без этого прозвучавшая в русском Воронеже фамилия замечательных русских промышленников произвела сильное впечатление. В номере повеяло присутствием «старшего брата», и вопросы межнациональных отношений более не поднимались.

Воцарилось единодушие, особенно полное в том впечатлении, какое на моих сотрапезников произвел Воронеж: «Большой город – говорят, в войну весь был разрушен...

Пьяных немного – не то что в Рязани, Ярославле, Новгороде... Люди бедно живут, но не злые, только хмурые какие-то, – а девушки красивые...» Так что наутро, отправившись от площади Ленина пешком по улице Кирова, а потом 20-летия Октября, до Строительного института, «стройка», я внимательно разглядывал дома и оценивал встречных.

Улицы были явно не окраинные, однако даже многоэтажные дома на них рождали ощущение беспросветной чеховской скуки. Их даже нельзя было назвать разностильными, – скорее, одинаково лишенными каких бы то ни было признаков стиля, словно бы за процессом проектирования надзирал кто-то, бубнивший угрожающе: «Вы у меня навсегда забудете, что архитектура – это застывшая музыка!» И вот, все волшебное многообразие мелодий и ритмов свелось к барабанной дроби, и дома выстроены так, чтобы с первого дня выглядеть именно выстроенными, а не возведенными.

Не по-январски слякотно и серо было в тот мой первый день в Воронеже. Да, это штамп – утверждать, будто при знакомстве с городом сияние солнца или нахмуренность неба определяют последующую жизнь в нем, однако уверенность в том, что осяду в Воронеже надолго, ужилась во мне в то утро с другой уверенностью: радости в этом бытовании будет немного.

«Для веселия планета наша мало оборудована...» – писал Маяковский, которого тогда очень любил. «Для веселия планета наша мало оборудована...» – повторял мысленно, входя

в «стройка», где мне была назначена встреча с научным руководителем. И понимал, повторяя, что всегда буду воспринимать Воронеж оборудованным для веселья не более, нежели вся остальная планета.

Так и воспринимаю уже пятьдесят лет – что бы там ни говорили ура-патриоты в вечном споре с увы-патриотами.

Нет-нет, моя жизнь в Воронеже не была безрадостной, – в конце концов, здесь выросли мои дети, а сейчас подрастают двое из троих внуко-внучек, и в одном только этом – море радости...

Море...

А стол, за которым я в Баку делал уроки, занимался математикой и получал первые, пусть совсем еще слабенькие, результаты, стоял у окна, и так хорошо была видна бухта – вся, с островом Нарген⁶, и безлунными, беззвездными зимними ночами свет его маяка упирался в беспросветную темь горизонта...

⁶ С 1990 г. Бейюк Зыря – остров в Бакинской бухте. Наргеном был назван в XVII веке казаками, желавшими сделать приятное Петру Первому: два одноименных острова, один на севере, в Финском заливе, близ Ревеля (Таллина); второй на юге, рядом с Баку, символизировали необъятность Российской империи. Во время Первой мировой войны на Наргене находился лагерь для турецких военнопленных; в 30–40-е годы прошлого века он был местом массовых казней жертв репрессий, а в 1942 году, по слухам, на нем располагались зенитная батарея с военнослужащими-поляками из армии Андерса и две английские эскадрильи истребительной авиации – и то и другое по настоянию Черчилля, который вполне справедливо полагал, что захват Баку немцами или разрушение его промыслов и заводов с воздуха означал бы для Советского Союза полное поражение.

Но зато в Воронеже случались у меня, – и это, право, гораздо важнее веселья или его отсутствия, – взлеты; даже и теперь, когда мое бытие гнет к земле мое же сознание, о нескольких таких вспоминаю – и становится легче: «Все же когда-то летал!»

О самом первом расскажу подробнее.

Первый год аспирантуры начался с потрясения, едва не приведшего меня на грань нервного срыва: уровень лучших студентов третьего-четвертого курсов матфака оказался неизмеримо выше моего. Их доклады на посещаемых мною семинарах, их рассуждения, которыми они обменивались буквально на бегу, были не просто мне не понятны – не знал, станут ли они когда-нибудь понятнее. Бросился в библиотеку, просиживал в читальном зале, листал монографии и паниковал, что не только трех лет аспирантуры, но и всей жизни будет мало, чтобы прочитывать хотя бы одну от корки до корки.

И тут Яков Брониславович, словно почувствовав мое состояние, сказал: «Хватит метаться. Займитесь-ка лучше вот чем...» – и сформулировал нечто сложное, но хотя бы доступное пониманию.

И в самой постановке задачи (великое искусство научного руководителя – ставить перед учеником именно такие задачи!) мне словно бы послышалось: «Либо сделаешь, либо сдохнешь!» Готов ли я был ко второму варианту – до сих пор

не знаю. Тогда, однако, знал точно: ничтожеством, размазанным по вечно разбитому асфальту воронежских улиц, я не буду. Убегать оттуда, где трудно, – обратно ли в Баку, или «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», или «искать по свету, где оскорбленному есть чувству (самоуважения) уголок», – не для меня. Убегать от угроз вообще не для меня – спасибо родному городу, воспитал, расскажу позже, как именно.

Оставалось – сделать.

Недели, в течение которых доказывал первую свою серьезную теорему, запомнились мерной ходьбой по аспирантской клетушке.

Четыре шага между узенькими общежитскими кроватями с продавленными металлическими сетками, комковатыми матрасами и желтоватым от стирки хозяйственным мылом бельем.

Два шага вдоль стоящих друг против друга тумбочек и мимо висящих над ними книжных полок. На моей – стопка общих тетрадей и несколько книг; на полке Алика, тоже бакинца, «добывающего» уже второй год в аспирантуре на кафедре технологии строительства и пропадающего на полигоне, где проводились испытания пневмоопалубок, – ничего научного и даже околонуучного.

Но зато на ней подружка соседа, парикмахер Аня, держит инструменты, причем это не случайное для них пристанище, потому что раз в неделю, перед свободным от работы днем, дама приходит к Алику на ночь, а я отправляюсь в какую-ни-

будь другую аспирантскую комнату (где-то свободная кровать непременно найдется). Однако дама стесняется, если я начинаю собирать постельные манатки и зубную щетку сразу после ее приветственного «Добрый вечер, как жизнь?», поэтому мы сначала по-семейному, втроем, пьем чай. Алик нетерпеливо ерзает на стуле (подозреваю, впрочем, что подчеркивая таким образом огненный темперамент бакинца), а Аня внимательно разглядывает мои волосы (начал лысеть рано, однако тогда на голове моей еще была вполне полноценная прическа); потом говорит: «Дай-ка с боков тебе подправлю» или «Что-то чубчик уж больно закручерявился», а на мое: «Аня, ведь еще неделю назад все было в порядке!» – следует решительное: «Не спорь!».

Я и не спорю, чувствую, что никакая другая женщина не станет так истово сражаться за порядок *на* моей голове, не покушаясь на постоянный беспорядок *внутри* нее – на беспорядок, порожденный раздвоением сознания, меньшая часть которого послушно участвует в окружающей жизни, а большей части на окружающее наплевать, поскольку занята решением очередной задачи, безумно трудной в сравнении с предыдущими, уже решенными, а потому тривиальными.

Не спорю, ибо комплект Аниных инструментов, лежащий на полке Алика, предназначен для меня и только для меня – а ее парень, со всем его огненным темпераментом, раз в месяц плетется к ней в парикмахерскую.

Не спорю, ибо в ее прикосновениях есть, как мне чудится,

и сожаление по поводу того, что скоро уйду я, а не он (бакинec у бакинца женщину да не уведет!); и обещание, что если перетерплю неизвестно насколько длинную череду этих «скоро», то когда-нибудь... может быть...

Однако вернемся к тому, как вышагивалось доказательство теоремы – по угловой комнате, вытянутой подобно тощему служаке-сержанту, который даже спит так, будто получил команду «Смирно!».

Так вот: после двух шагов вдоль тумбочек и полок нужно сделать еще два – мимо расшатанных, доживающих последние годы конторских письменных столов; изредка присаживаюсь за один из них, чтобы подсчитать параметры звеньев ломаной. Да, я затеял построение хитрющей ломаной и хилыми всплесками шестого чувства угадывал, что поддастся, поддастся мне моя желанная, что не станет она меня уговаривать перетерпеть...

Потом еще пять шагов вдоль стола, – одного на двоих, за которым едим и раз в неделю чаевничаем с Аней; и вдоль шифоньера, – тоже одного на двоих.

Все, дошел до входной двери, теперь разворот – и обратно. Но в один из декабрьских, уже предновогодних, дней, когда вечерние сумерки надвинулись с самого утра, сделав город за замызганным окном еще неприютнее, мне вдруг стало ясно, что чертовой дюжины шагов туда и чертовой дюжины обратно для завершения доказательства не хватает, что

необходим простор. Дождался Алика, надел теплую фуфайку, самый толстый свитер, пиджак – и пальто налезло поверх всего этого с усилиями, сравнимыми с теми, как если бы натягивал противогаз на голову слона, – и сообщил уже горящему в предвкушении «верного свидания» соседу:

– Чувствую себя плохо, спать лягу здесь, так что у вас с Аней есть часа три, не больше.

Погода соответствовала календарю, но хорошо хоть скользко не было и широкому шагу ничто не мешало. За временем не следил, только отмечал краешком сознания, что сначала было холодно, потом, от быстрого движения, стал, под всеми своими одеждами, противно влажным, потом, – когда до полной и окончательной победы оставалось получить одно коротенькое неравенство, – замерз так, как может только замерзать еще не привыкший к северу южанин, однако не сдавался.

За витриной центрального универмага была выставлена елка, богато – по меркам тех времен – украшенная, но гирлянда на ней не сияла и не излучала, а мигала со сбивчивой частотой предсмертных вдохов... и клянусь вам! – в голове моей, одновременно с очередной вспышкой лампочек, вспыхнули все необходимые для получения неравенства выкладки!

Зачем-то дошагал до гостиницы «Луч», втридорога купил бутылку водки в тамошнем заштатном ресторане и устремился в общагу, мечтая, как разопьем бутылку «на троих»,

как, глядя в лукавые Анины глаза, поделюсь обретенной уверенностью в том, что вовсе даже не ничтожество, во всяком случае не беспросветное ничтожество, коль скоро доказал-таки теорему... Но в комнате никого не было, и я долго ждал Алика, чтобы выпить хотя бы «на двоих». Он, однако, объявился только утром и рассказал, как Аня за меня волновалась, с каким трудом удалось уговорить ее поехать в гостиницу «Луч», сколько пришлось дать на лапу, чтобы снять на ночь номер, и каких усилий, – что совсем уже дико, – ему стоило продемонстрировать обычную свою вулканичность.

Не могу простить Чехову снобизм его заявления о том, что жизнь любого человека – это всего лишь сюжет для небольшого рассказа. Да жизнь любого человека буквально напичкана сюжетами для рассказов! и повестей! и романов! Лишь множество разных сюжетов и есть смысл нашего существования!.. А смерть, по сути своей, сводится, к сожалению, о том, что сюжеты эти не были прожиты как следует.

Аню я увидел снова лишь через четыре года, потому что в общежитие она больше не приходила.

Да и я съехал оттуда, сняв после Нового года комнату в одном из частных домов, и вот где замерзал по-настоящему! Вот где испытал первый свой полет – во сне, конечно, наяву так не летают!

...Февраль в 1969-м случился запредельно морозным, а

круглая печь, единственная на весь дом, в комнату мою выходила узенькой полоской, и температура у письменного стола, как бы старательно ни топили хозяева, выше пятнадцати градусов не поднималась.

А я уже почти два месяца безуспешно придумывал пример, подтверждающий существенность условий «вышаганной» теоремы; время поджимало, подходил срок сдачи в университетский сборник статьи, – первой! полноценной!.. Вернее, пока еще не полноценной, а куцей.

Незачем и говорить, что голова моя, полусонная от неотступного холода, думать отказывалась, что опять казался себе абсолютным ничтожеством, – потому и «уходил» от этой безнадеги единственно доступным способом: подремывая под двумя ватными одеялами да еще и под накинутым сверху пальто.

Главное, есть не хотелось; примерно так же, уверен, чувствует себя, – вернее себя *не чувствует*, – впавший в спячку медведь, только вот того чуда, что случилось со мною, с ним бы точно не произошло.

...Был удивительно солнечный полдень особенно морозного дня и, приоткрыв глаза, я с удивлением обнаружил на стене иней. Он показался мне вполне подходящей «доской», а потому, вытащив из-под одеяла руку, я вдруг несколькими формулами, подтекающими прямо под пальцем, набросал конструкцию примера.

Да, именно так, придумал его в три минуты потрясающе-

го по ясности видения, после чего провалился, – но уже не в дремоту, а в сон, и в этом сне, очень маленький и очень крепко сбитый, я летал под грозowymi тучами и держал в руках чудесный пример. А вокруг грохотал гром и гремели овации; все живое и неживое поздравляло меня с тем, что я, карла ничтожный, сумел-таки влететь в Чертоги и выкрасть у Высшего Разума кусочек Тайного Знания.

Спал до самого вечера, а разбудила меня, вернувшись с работы, жена, незадолго до того перебравшаяся ко мне в Воронеж.

Пристыдила, что весь день провалялся голодный, поздравила с обретением примера и сообщила, что на улице за считанные часы потеплело.

И мы понеслись в ресторан.

В «Маяк», как сейчас помню. Обедать и ужинать одновременно.

...Вот так! А вы, Антон Павлович, говорите, будто всего только один сюжет, да и то для небольшого рассказа!

За пятьдесят лет пребывания в Воронеже я кроме математики состоялся еще в пяти как минимум профессиях: автора коротких рассказов, кавээновских и эстрадных миниатюр; драматурга; топ-менеджера (был генеральным директором консалтинговой компании, руководил крупным аграрным проектом); политтехнолога; экономиста и специалиста по биржевым стратегиям. А еще с 2005 года пишу прозу –

пять романов и повесть изданы, а кое-что и переиздано.

Чем-то из перечисленного увлекался, во что-то был и остаюсь влюблен, что-то делал ради денег.

Но «летал», – увы! – нечасто. В основном тогда, когда получал интересные и неожиданные результаты; о некоторых из них не могу сейчас рассказать даже самому себе, поскольку перестал их понимать – ведь математику пришлось оставить в 1996-м. Но вот об одном не забуду даже в последний час жизни, и только в окончательно отлетающем моем сознании исчезнет воспоминание о том, как полученные мною общие результаты позволяют увидеть новые и неожиданные свойства хорошо к тому времени изученных так называемых пространств Соболева.

Когда рассказал об этом Селиму Григорьевичу Крейну, он прокомментировал словом, любимым им со времен его одесского детства: «Шикарно!».

Когда рассказал на семинаре в Математическом институте Академии наук, «классики жанра» отозвались: «Сенсация!»

Однако самая высокая оценка, хотя и несколько косвенная, была получена в новосибирском Академгородке, на защите докторской диссертации. Дело в том, что двое из членов совета были чуть ли не со-основателями имевшего антисемитский душок общества «Память» и при малейшем подозрении о наличии у соискателей хоть капли еврейской крови голосовали против. В моем же случае даже и подозревать не

надо было – все значилось в анкете, которую в начале защиты зачитал ученый секретарь.

В Институте математики Сибирского отделения Академии наук, основанном в начале 60-х тем самым Сергеем Львовичем Соболевым, многие мне симпатизировали и о двух неизбежных при голосовании черных шарах предупредили. Ревнителю чистоты рядов советских математиков среди членов совета обнаружился легко: в начале моего доклада они смотрели не на исписанную формулами доску, а в окно, однако когда я заговорил о новом явлении в «изъезженной», казалось бы, вдоль и поперек теории пространств Соболева, то не выдержали, головы повернули...

При объявлении результатов тайного голосования по залу прошел гул: двенадцать «за», два бюллетеня оказались недействительными, – то есть одобрить присуждение мне, еврею, степени доктора физико-математических наук «памятникам» не позволили убеждения, однако проголосовать против не позволила научная совесть!

Спасибо Воронежу: во всем, что затевал здесь на протяжении пятидесяти лет, был успех более или менее явный.

Но трижды спасибо Баку: не подарил он мне такое детство, такую юность и таких друзей, не отмой он меня от пятен мелочного тщеславия, не приучил бить, но не добивать, выигрывать, но не возноситься, проигрывать, но не сдаваться, не научил работать – не было бы в моей жизни никаких успехов.

Ни в Воронеже, ни в любом другом городе мира!

Баку

«Ты кто по национальности?» – типично бакинский вопрос, который задавался в расчете на развернутый ответ. И даже если можно было пояснить одним словом, например, «азербайджанец», то непременно прибавлялось, что мать из Баку, а отец из Шамхора или из Гянджи; если «русский» или «еврей», то как и когда в Баку оказались родители. Дети смешанных браков называли национальность по отцу – и не потому даже, что именно так себя осознавали, а постольку поскольку фамилия-то отцовская! Это при том, что мать почиталась, и в смеси самых разноязычных ругательств обычное для России «...твою мать!» считалось смертельным оскорблением, после которого завязывалась драка или даже поножовщина.

А уж если поклялся матерью и хлебом, то это священнее, чем Аллахом, или Христом Богом, или Всевышним.

Но вопрос этот задавался не для различения по признаку «свой – чужой», а скорее во избежание ненужных осложнений: разговаривает, скажем, еврей с азербайджанцем и неодобрительно отзывается, например, об украинцах – и вдруг слышит: «Ты мою родню зачем обижаешь?» Выясняется, что у собеседника, чья принадлежность к народу азе-ри сомнения не вызывает, мать или даже бабушка откуда-то «с Винницы», и нужно долго и искренне извиняться, чтобы

уйти от ненужного конфликта.

Я как-то раз так вляпался: перейдя из своей 6-й, лучшей в мире школы, ставшей, во имя очередного заскока Хрущева, одиннадцатилеткой, в другую, оставшуюся десятилеткой, и плохо еще зная одноклассников, заявил с пубертатным идиотизмом, что никогда не прощу украинцам их зверств во время погромов, чинимых когда-то запорожцами, а позже – соратниками Богдана Хмельницкого, Петлюры и Бандеры. Маленький, на голову ниже меня, мальчуган, азербайджанец Адиль, отреагировал: «Моя мать – украинка!» ... Что ж, извинялся и убеждал, что имел в виду не тех, которые... а других, которые... Потом, кстати, мы с Адилем подружились. После этого случая я опасался резко отзываться или уничижительно говорить о любом народе, тем паче в Баку, где парень, разрез глаз которого наводил на мысль о близости к степнякам Средней Азии, мог вполне иметь совсем другие, чукотские, скажем, корни, – и анекдоты из ходившей тогда серии «про чукчей» лучше было при нем не вспоминать. Поначалу просто опасался, потом привык опасаться, а потом опасения улетучились и взамен осталась привычка к тому, что резкость или уничижительность в отношении любого народа или этноса безнравственны.

Так на собственной шкуре получил подтверждение хорошей усвояемости уроков, преподносимых ударами грома, – и неважно, крестишься ли ты до того, как он грянет, или по-

сле; говоришь ли «Иншалла!»⁷ в преддверии грозы или «Машалла!»⁸ во время оной.

Но заговорил я об ответах на «бакинский» вопрос еще и потому, что когда количество смешанных браков в Советском Союзе пошло на убыль, в Баку ничего подобного не случилось. Сам я и мой кузен, тоже Марк, женились на русских, да и многие мои друзья не принимали во внимание «чистоту крови» – поэтому теперь, когда в России все чаще слышится, как важно во имя нации, скреп, традиций и черт его знает чего еще сохранять в семьях моноэтничность (а теперь еще и единоверие), хочется ответить: «А вы посмотрите на детей, рожденных и воспитанных нами, “не сохранявшими”. Они что, хуже, глупее или ленивее ваших?»

У меня дочь и два сына, все от русских матерей. Старший сын считает себя евреем, а женат на женщине из народа телугу (Индостан); младший – русским и женат на русской, но когда мои парни сидят рядом, никто не верит, что у них – разные матери, настолько оба похожи на меня. А вот во внешности их детей не усматривается ничего еврейского, и никто из них ни на кого другого ничуть не похож. Во всяком случае пока.

Но я знаю, что все они, каждый по-своему, замечательно

⁷ Иншалла (ин ша Аллах) – если пожелает Аллах (*араб.*). Соответствует русскому «Если Бог даст» и в какой-то мере знаменитой аббревиатуре ЕБЖ (если буду жив) из толстовских дневников.

⁸ Машалла (ма ша Аллах) – так захотел Аллах, на то воля Аллаха (*араб.*).

хороши, и благодарю судьбу за то, что истоки этого знания – из Баку.

Об одной чудесной, смешанно-перемешанной семье расскажу особо. Я знаю ее благодаря моему однокласснику Эльдарчику, – не буду называть его фамилию, как и фамилии всех моих ближайших друзей, поныне, к счастью, пребывающих в этом мире... Такое вот странное, внезапно возникшее у меня суеверие: тех, кто жив, – только по имени; уже, к несчастью, ушедших: Эмина Алиева, Рауфа Сафарова, Шурика Тверецкого, Леню Прилипко – буду вспоминать, будто бы произнося на переключке в дорогой сердцу 6-й школе; будто бы надеясь, что откуда-то *оттуда* услышу их ответное, разноголосое «Я!».

Эльдар всегда был для нас Эльдарчиком, может быть, потому, что рос не очень стремительно, хотя вымахал в конце концов изрядно – наверное, благодаря баскетболу, в который играл хорошо и страстно. Вернее, настолько страстно, что не успевал вполне продемонстрировать, насколько хорошо: пять фолов он зарабатывал на первых пяти минутах игры, после чего сидел на скамье и давал квалифицированные советы своим осиротевшим партнерам.

А может, потому же не Эльдар, а Эльдарчик, почему Эмин был Эминчиком, почему и Шурик, Сашок, Ленчик, Марик, а поскольку от «Ниязи» уменьшительное образуется с трудом, то всегда: «Ниязи, дорогой!» И потому, что – часто на-

смешничая друг над другом, иногда ссорясь и даже иногда дерясь, – мы называли друг друга так, как называли нас наши мамы.

Это – Баку! Это бакинская расположенность, бакинская нежность... Но даже с ними и при них не было и нет у нас более равнодушного друга, чем Эльдарчик, до сей поры он говорит о способностях и успехах друзей так упоенно и страстно, как вел когда-то мяч на баскетбольной площадке, – но упорно молчит о *своих* способностях и успехах, очень и очень немалых.

Но и никогда в жизни не встречал я другого такого же взрывного человека, который, правда, умел успокаиваться так же мгновенно, как минуту назад завелся.

И никогда не видел я другой семьи, в которой дивные черты разных народов, сплавленные воедино Баку и сумасшедшей температурой двадцатого века, образовали бы личность, достойную вечности.

Об этой семье прекрасно написал наш общий с Эльдарчиком школьный друг Саша в своей повести «Скачут по аулу три всадника», из которой я приведу несколько небольших отрывков.

Любимый тост Эльдара (произносимый очень редко и в очень узком кругу):

Ночь. Скачет по аулу всадник. Стучит в окно. «Выходи!» – «Сейчас».

Скачут по аулу два всадника. Стучат в дом. «Кто там?» – «Выходи». – «Иду!»

Скачут по аулу три всадника. Стук в окно: «Выходи!» – «Зачем?» – «Не нужно, оставайся!»

Скачут по аулу три всадника...

<...>

– Встретим в аэропорту гостя из Москвы?

– Поехали!

Разговор привычный для нас в те годы. Но эта встреча запомнилась.

Сидели на пляже в Нардаране, бросив подстилку прямо на песок, и ели арбуз. Каспийские волны набегали уютно, норд дул несильный, и день получился замечательный.

Приезжий был заметно старше нас, и я из-за этой разницы в возрасте поначалу чувствовал себя скованно. Но собеседник был так деликатен и внимателен – без всякой фамильярности и похлопываний по плечу, что уже через полчаса мы общались на равных, и перипетии недавнего футбольного матча «Нефтчи» обсуждали, и анекдоты рассказывали.

А еще я, раскрыв рот, слушал о разного рода космических делах, которые в СССР тогда были тайной за семью печатями. И еще чем покорила меня сразу этот человек – предложил называть его просто по имени – Довлет.

На Востоке отчества вообще не приняты, но существует изощренная система вежливых слов – приставок к име-

ни, которые помогают прояснить взаимоотношения беседующих и их места в «табели о рангах». В Азербайджане самое распространенное уважительное слово в те годы было «муаллим» – «учитель». Однако мои попытки употребить это слово Довлет отвел вежливо, но твердо. «Саша, я вам не учитель. Хотите, называйте меня Довлет Ислам-Гиреевич, а я тогда буду вас тоже по имени-отчеству величать – пожалуйста, если вам так проще...» Конечно, я с радостью согласился обходиться именами.

День получился чудесный, а после я узнал от Эльдара, что мы беседовали с руководителем одного из московских НИИ, имеющих отношение к оборонному комплексу, профессором Довлетом Юдицким... И тут я узнал одну из тех историй, про которые сказано кем-то: «К чему писать романы, если сама жизнь – роман?»

<...>

Приехал служить на Кавказ молодой офицер царской армии поляк Леон Юдицкий. В дагестанском ауле полюбил он красавицу Мариам. Посватался – и получил категорический отказ. Родители не желали, чтобы девушка выходила замуж за иноверца. А дальше – нет, никто никого не крал темной ночью, и не бросалась красавица со скалы на острые камни... Жизнь – она суровее и проще. Леон Юдицкий понял, что не может и не хочет жить без Мариам. Он поставил крест на своей карьере, простился с предыдущей жизнью и принял

ислам. И был наречен Ислам-Гиреем. Жили они с Мариам долго и счастливо, и были у них дочь и сын.

С сыном его, Довлетом, мне и выпала удача познакомиться...

А чтобы круг повествования замкнулся полностью, скажу, что Мариам была младшей сестрой бабушки Эльдара – Сакинат-ханум, которую все звали только мама Сакинат, и не иначе.

<...>

Остается в бутылке два-три глотка водки, я тянусь разлить и допить, но Эльдар меня останавливает: «На компрессы!» – и смотрит со значением. Я этот взгляд понимаю – это слова мамы Сакинат.

Мама Сакинат... Бабушка Эльдара. Мама Эльмиры Алиаббасовны.

Долгими часами она просиживала в своей комнате за столиком, раскладывая пасьянсы. Вокруг нее и ее имени в доме существовал ореол уважения, почтения, даже – некоторой робости. Ее роль в семье – я бы сказал, королевская. В самом деле, какую повседневную работу делает королева для Англии? Никакой. Но что Англия без королевы?..

Не стало мамы Сакинат много позже, уже когда мы закончили институт. В день, когда ее хоронили, было солнечное затмение. Я до сих пор помню этот свет полузакрытого солнца – он стал каким-то призрачным, бутафорским... Народу

собралось много, и я ушел на веранду, чтобы не быть в толпе, и там дожидался выноса покойной. И чем ближе к этой минуте, тем трепетнее и нереальнее становился солнечный свет... Так ушла мама Сакинат.

Спасибо, Сашок, теперь продолжу я: Сакинат, девушка из почтеннейшего кумыцкого рода, суннитка, вышла замуж за азербайджанца, капитана дальнего плавания Алиаббаса, шиита разумеется. Не знаю, по каким религиозным канонам жила семья, но жила хорошо. А Эльмира Алиаббасовна, мать Эльдарчика, – для нас «тетя Эльмира», – глядя на которую так легко было себе представить красавиц-горянок из чудесных стихов аварца Расула Гамзатова и романов даргинца Ахмедхана Абу-Бакара, – вышла замуж за еврея, талантливого инженера. До конца дней своих мама Сакинат, когда (крайне редко) сердилась на обожаемую свою и ответно ее обожающую Эльмиру, кричала ей: «У, персючка!», что и было в их семье единственным проявлением многовековой розни суннитов и шиитов; той самой розни, которая ныне определяет столько скрытых и явных конфликтов не только в обширном исламском мире⁹, но и на всей планете.

У Эльмиры Алиаббасовны и Израиля Давидовича роди-

⁹ Напомню, что персы (иранцы) – шииты; царственная мама Сакинат прекрасно владела русским и знала, конечно, что правильно «персиянка», а потому рискну предположить, что употребляла она в минуты гнева «персючка» в силу явного созвучия этого слова с... но стоп! Закрываем тему, а не то попадет этот текст на глаза Эльдарчику – и взрыва не миновать.

лись два сына: Рауф и Эльдар.

Эльдарчик, Эльдар Израилевич, стал прекрасным специалистом в области микроэлектроники и приборостроения, работал главным технологом НПО космических исследований. Защитил в Зеленограде диссертацию; Солмаз, первая его жена, родила ему троих детей: дочь Нигяр, сыновей Руфата и Салима. Видел в 1981-м всю эту шумную и веселую семью, радовался за нее. А всего через десять лет, когда власть в Азербайджане перешла от бездарных бывших комсомольцев к еще более бездарным радикальным националистам (интересно, а хотя бы в одной стране мира даровитые среди таковых попадались?), оголтелые деятели Народного фронта назвали Эльдарчика «типичным ставленником советского ВПК». Не в характере моего друга стерпеть такое – но он, вопреки этому самому характеру, не взорвался, чтобы вскоре остыть; он понял, что прежняя жизнь ушла следом за прежней страной – и уехал из Баку.

Жил в Москве, с ужасом видел, как разрушаются приборостроительная и электронная индустрии СССР, как хиреют комплексы в Зеленограде, Воронеже... везде; комплексы, которые при толковом руководстве долго бы еще конкурировали с «буржуинской» радиофизикой и микроэлектроникой – ведь мы создали интегральную микросхему вторыми в мире, с отставанием всего на полгода; ведь, к примеру, портативные системы пеленга, разработанные еще в 1943 (!) году в легендарном Горьковском институте радиофизики,

долго-долго оставались недостижимой мечтой для всех научно-технических центров мира, а теперь принципы, по которым действовали те системы, лежат в основе кажущейся нам столь привычной моментальной геолокации!

Но, впрочем, я об Эльдарчике... так вот, привыкший к каждодневной о себе заботе, он жил в Москве одиноко и временами, чтобы просто прокормиться, вынужден был хвататься за любую работу...

Однако все выдержал, нашел себя во второй раз. Во второй раз родился – встреченная им Юля, замечательная той особой русской милотой, которая охраняет и хранит, и старший сын, Руфат, буквально оттащили его от края пропасти, разверстой тяжелой болезнью. Во второй раз состоялся в профессии: его приборы и методики, позволяющие оценивать перспективы длительно эксплуатируемых скважин, были отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники.

Рассказ мой о семье Эльдарчика начался с имени поляка-мусульманина Ислам-Гирея (Леона) Юдицкого, а закончится замечательной чередой азербайджанских, еврейских и русских имен: Марьям, Зулейха, Алиаббас, Натан, Этель, Марфа, Лиза.

Это – внуки и внуки Эльдарчика. Видел их на семидесятилетнем юбилее деда; видел, как он купается в их любви, – воистину, это не маркесовская, а золотая осень патриарха.

«Дети разных народов», – скажете вы. «Нет, – возражу я, –

дети одного народа, *бакинского*, вне зависимости от того, кто в каком городе родился!»

Да, с Баку, как фальшивая позолота, слетало то идеологически выдержанное, трибунно-газетно-тивишное, что именовалось «дружбой народов», а взамен оставалось подлинное дружелюбие этих самых народов по отношению друг к другу. Это не было единством обездоленных и угнетенных, это не было спаянностью в настойчиво пропагандируемой борьбе за что-то привлекательное или *против* чего-то враждебного. Вряд ли *бакинский народ* остро ощущал свою всечеловечность, так что глобалистами нас не назовешь; вряд ли *бакинский народ* остро ощущал свою «советскость», так что и в первых рядах строителей коммунизма мы тоже не шли. Однако всегда следует помнить, что в годы войны воевали свыше шестисот тысяч жителей Азербайджана¹⁰, а не вернулись назад более двухсот, и очень-очень значительную часть этих сотен тысяч составляли бакинцы, – это ли не причастность общей судьбе?

Я намеренно не подсчитываю, какую долю среди воевавших составляли азербайджанцы, какую русские и так далее – это соответствовало этнической структуре населения и никаких выяснений, какой народ сколько крови пролил, в Баку не случалось; лживое, с ехидством обращенное к евреям: «Ташкент защищали!», я услышал очень далеко от дома.

¹⁰ В 1940 году население республики составляло примерно 3 200 000 человек.

Дал в морду, а в Баку избил бы.

Здесь же скажу, что даже в подлые времена «дела врачей», когда быть антисемитом значило проявлять личную преданность товарищу Сталину, никаких признаков враждебного к евреям отношения в Азербайджане не было. Да и не могло быть там, где во время сбора денег на строительство ашкеназской синагоги, большую сумму внесли миллионеры-нефтепромышленники Гаджи Тагиев и Муса Нагиев. Казалось бы, какое им, азербайджанцам, дело до евреев, да еще и не «местных», горских евреев, живущих бок о бок с ними издавна, а пришлых, «понаехавших», «перекати-поле», тщетно ищущих на территории огромной империи место, где не унижают?

Да вот ведь, было, оказывается, им дело – и потому, думаю, было, что разбогатели они, Гаджи-ага и Муса-ага, на нефти, – дивной, сложносоставной, ароматной бакинской нефти, которую оскорбляют, называя «черным золотом», то есть сравнивая с блестящим металлом, функциональным разве что в микросхемах.

И которую воистину возносят до небес, именуя Черной кровью Земли – да, именно с заглавной буквы! как Бога! Бога, которого, – считали правоверные мусульмане Нагиев и Тагиев, – все равно как называть, которому все равно как молиться – лишь бы молились чему-то *неизмеримо высокому*, даже если оно, это *высокое*, проявляется небольшим, всего лишь метровым, вечным пламенем на гребне го-

ры Янардаг¹¹, у которой издревле падали ниц паломники-огнепоклонники.

Воевали призванные в Азербайджане мужественно – и вечная слава им за это!

Однако будем честны и максимально тактичны, они внесли весомый, но не решающий вклад в Победу, а вот добытая и переработанная в Баку нефть – решающий!

Это признавали и советские военачальники, начиная с Г. К. Жукова; об этом писал выдающийся министр нефтяной промышленности СССР, председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков. С дотошностью экономиста и инженера Николай Константинович указывал, что советская боевая машина на 75–80 процентов приводилась в движение благодаря труду бакинцев, а я, – с дотошностью математика, – попытался выяснить: «А на остальные 20–25 процентов благодаря чьему труду?»

Кроме Баку нефть в годы войны добывалась еще на промыслах Моздока и Грозного, созданных усилиями бакинских инженеров и буровых мастеров; еще в так называемом Втором Баку – нефтеносных районах Поволжья, – а туда в 1941 году был переброшен многотысячный трудовой десант из Азербайджана, например, в полном составе трест «Азнефтеразведка», переименованный в «Башнефтеразвед-

¹¹ Горящая гора (*азерб.*) – известняковый холм в 27 километрах севернее Баку, из расщелин которого вырывается природный горючий газ.

ка». Совсем немного нефти и нефтепродуктов давали республики Средней Азии, но и там трудилось немало бакинцев, так что, глубокоочтимый Николай Константинович, царствие вам небесное, не на 75–80, а на все 90 процентов!

Как это было? Двенадцатичасовой рабочий день без выходных и отпусков, а ночью, выполняя требования светомаскировки, трудились почти вслепую, пользуясь маломощными карманными фонариками, – и ни одной крупной аварии!

Как это было? Когда немцы, захватив Северный Кавказ, перерезали все железнодорожные пути на север, а под Сталинградом заблокировали движение по Волге, от Баку до Красноводска, по бурному осенне-зимнему Каспию, пошли буксиры, таща за собою длинные караваны снятых с вагонных тележек и прикованных одна к другой цистерн, заполненных бензином, керосином, мазутом и сырой нефтью лишь наполовину, а потому плавучих.

Как это было? Когда на бакинском рейде потерпел крушение доставивший арахис пароход из Ирана, Мир Джафар Багиров, талантливый и грозный руководитель Азербайджана, велел поднимать со дна мешки, вылавливать зерна – и бесплатно раздавать бакинцам. Отмывали как могли, отжимали масло, мололи, жарили лепешки – многих это спасло тогда от дистрофии и голодной смерти.

Приведу слова Ф. И. Толбухина, маршала Советского Союза: «Красная Армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками за многие по-

беды...»

Да, в долгу, и не только Красная Армия, а все мы. А еще и вся Европа! В долгу, который не надо возвращать, но о котором следует помнить.

Академик Иван Губкин, исходив весь Апшерон и изучив его недра, по каким-то своим, ведомым только гениям, ассоциациям и аналогиям «разглядел» нефтеносные пласты «Второго Баку», а еще предположил, что Западная Сибирь покоится на невиданных по размерам «подушках» из нефти и газа. Предвидение о татарских, башкирских, куйбышевских (самарских), пермских залежах подтвердилось блистательно и сразу, а с Западной Сибирью было много сложнее – все развивалось по пословице «Близок локоть, да не укусишь»: неоднократно проводимое разведочное бурение то выявляло признаки нефти, то не выявляло, а самой нефти не было.

Однако всевидящая судьба, о которой писал Евгений Баратынский, действительно все видела и не спеша, без ненужной суеты, готовилась преподнести стране неслыханной щедрости дар. Такой щедрости, что Советский Союз, словно бы оглушенный и ослепленный свалившейся на него милостью, через тридцать лет после марта 1961 года скончался от болезни, которая называется «кому много дано, с того много и спросится – и не приведи Господь спросу этому не соответствовать»; такой щедрости, которой до сих пор живет Рос-

сия, но – слава богу! – суть диагноза мы вроде бы усвоили и, по крайней мере, говорим, – много и красноречиво, – о том, что данному *нам* за *не наши* заслуги надо бы соответствовать, ой надо бы!

Однако все по порядку: 28 июля 1931 года в одном из сел Шамхорского района Азербайджана родился мальчик, нареченный Фарманом – первый из четырех детей семьи Салмановых. В 37-м его отца арестовали, мать и дети выжили благодаря односельчанам, деду Сулейману и бабушке Фирузе. А фундамент будущего нефтегазового могущества страны волею судеб был заложен задолго до того: еще в 1888 году юного бунтаря Сулеймана приговорили к 20-летней ссылке в Сибирь за конфликт с имамом гянджинской мечети и старшим муллой губернии. Отправившись добровольцем на Русско-японскую войну, он воевал так храбро, что был награжден и досрочно освобожден; женился на русской сибирячке Ольге Иосифовне, принявшей ислам и получившей новое имя Фируза, – и вернулся в родное село.

Внук Фарман впитывал рассказы деда о Сибири и Дальнем Востоке и учился русскому языку у бабушки, а судьба тем временем не дремала: министр нефтяной промышленности СССР, уроженец Баку Николай Байбаков, выпускник Азербайджанского нефтяного института, по своим депутатским делам приехал в Шамхор.

Во второй уже раз я вспоминаю эту легендарную, – без ка-

ких-либо преувеличений, – личность и хочу рассказать историю, наверняка не всем читателям известную.

Когда в августе 1942 года немцы вплотную подступили к нефтепромыслам Северного Кавказа, Гитлер на одном из совещаний сказал, что с кавказской нефтью войну он выиграет за две-три недели. Сталин, узнав об этом, приказал Байбакову срочно вылететь на Кавказ и сформулировал задание в любимой своей манере: «Если вы оставите противнику хоть тонну нефти, мы вас расстреляем, но если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, мы вас тоже расстреляем». Байбаков, которого вождь еще в конце тридцатых учил, что главное для молодого наркома – это «бичьи» нервы плюс оптимизм, решил возразить: «Вы не оставляете мне выбора, товарищ Сталин». – «Выбор здесь», – ответил Верховный главнокомандующий и постучал пальцем у виска. Этот ответ Сталина трактуют как призыв напрячь ум, но рискну предположить, что был в нем еще один смысл: пуля в висок из собственного пистолета, – до того как в затылок выстрелят из энкавэдэшного.

...Штаб Южного фронта уже поспешно «переместился» в Туапсе, а бригады, руководимые Байбаковым, еще бетонировали скважины моздокских промыслов, взрывали станки-качалки и нефтепроводы. В Москву штабисты доложили, что нарком погиб, а на самом деле он и его подчиненные чудом успели уйти к партизанам, и спустя два дня Николай Константинович добрался через горы до Туапсе.

Под Грозным же не законсервировали ни одной скважины, а когда немцы разбомбили промыслы и нефтеперегонные заводы, то пожары невиданной силы были потушены и все разрушенное восстановлено – за считанные дни.

Полгода фашистские дивизии оккупировали Северный Кавказ, но им не досталось не только ни одной тонна, но и ни одной капли нефти!

Итак, Байбакова в Шамхоре повели осматривать школу, в которой учился восьмиклассник Фарман Салманов, – говорящий по-русски почти так же свободно, как и на азербайджанском, он-то и давал министру пояснения. Прощаясь, тот спросил, кем хочет стать паренек после окончания школы, на что получил ответ: «Нефтяником». – «Это хорошо, – одобрил Байбаков, – нефть – будущее нашей страны». И в 1948 году Фарман, проработав до того два года коллектором Ширванской комплексной геологической экспедиции, поступил на геологоразведочный факультет, – чувствуете, как неустанно трудилась судьба! – Азербайджанского нефтяного института, который к тому времени уже назывался Азербайджанским индустриальным. В 1954-м, перед окончанием института, он написал письмо Байбакову с просьбой направить его на работу в Сибирь. Министр собрату своему по alma mater не отказал, и Фарман Салманов два года, работая начальником нефтегазоразведочных экспедиций, искал нефть в Кемеровской и Новосибирской областях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.